Седмица Трехглазого

Автор:
Борис Акунин

Седмица Трехглазого

Борис Акунин

«Он вдруг увидел перед собой всю свою длинную-предлинную жизнь как одну краткую седмицу: с трудоначальным понедельником, юновесенним вторником, мужественной середой, сильным четвертком, зрелой пятницей, грозовой субботой и тихим, светлым воскресеньем…» На нем – вся московская стража, блюдение городского порядка, сыск преступлений. Он расследует злодеяние за злодеянием, а перед глазами читателя между тем проходит не только череда невероятных приключений «старомосковского Шерлока Холмса», но и весь семнадцатый век, с его войнами, лихими разбойниками и знаменитыми бунтами.

Борис Акунин

Седмица Трехглазого

Роман-календариум

Научные консультанты – М. Черейский, О. Ковалевская, А. Терещенко

© B. Akunin, автор, 2017

© ООО «Издательство АСТ», 2017

* * *

Понеделок

Бабочка

Монах тряхнул седой головой, отгоняя дремоту, и Маркелка толкнул приятеля под столом коленкой: потягучей давай, пораспевнее.

Затянули на два голоса еще медленнее, тише:

– «Всякую шаташася языци, и людие поучашася тщетным…»

Об это время отец Гервасий всегда клевал носом от предвечерней истомы, а бывало, что и засыпал. Отроки понемногу убавляли силу голоса. Истомка водил пальцем по книге, Маркелка пел так. Память у него была исключительной цепкости, он мог хоть весь Псалтырь прогундосить от корки до корки.

– «Предсташа царии земстие, и князи собрашася вкупе…»

Ага! Уронил голову на грудь, засопел. Теперь можно было псалом не заканчивать. Но шуметь пока не следовало. Первый сон у учителя был мелкий.

Посему затеяли молчаливую игру в гляделки, кто кого переглядит. Победил, конечно, Маркелка. Он умел строить зверообразные рожи – то глаза к носу сведет, то пальцами растянет рот до ушей, а Истомка был смешлив. Начнет киснуть – на длинных девчачьих ресницах сразу выступают слезы, ну и смаргивал.

На восковой дощечке для письменного урока, где поверху было выведено лишь нынешнее число «Лета 120-го августа 10 дня в понеделок», проигравший

согласно уговору накалякал стилусом: «Аз Истомка Батурин дурья башка и свиное рыло». Написал и тут же затер. Во-первых, обидно, а во-вторых, вдруг Гервасий пробудится? За такое глумление над наукой быть Истомке драным иль, хуже того, посаженным на сухоядение, хлеб с водой.

Однако Гервасий просыпаться не думал. Причмокнул проваленным беззубым ртом, всхрапнул, а это значило, что сон уже глубок и можно пошептаться.

– Сегодня понеделок. Твоя Бабочка придет. Хорошо б земляники принесла, – замечтал Истомка.

– Какая земляника в августе. Сейчас смородина, малина.

– Тоже неплохо бы.

Шептаться они могли, а встать из-за стола и уйти ни-ни. Даже на цыпках. От скрипа монах сразу пробудится, проверено.

Занятия проходили в Дубовой палате, где когда-то вкушала трапезы монастырская братия. Посреди палаты – каменный столп, а стены ради зимнего тепла обшиты дубовой доской, и полы тоже дубовые – потому так и звалась, Дубовой. Тем доскам лет сто или двести, и продержатся еще столько же, но их давным-давно не мшили, не паклевали, и дерево ужалось, подсохло. В стенах и особенно в полу большущие щели, иные в вершок и даже в два вершка. Там, внизу, своя жизнь: копошатся мыши, трещат сверчки, живет кикимора.

Сама Дубовая палата находилась в Трапезном корпусе, единственном каменном строении Неопалимовской обители, некогда богатого и людного монастыря. Раньше было в монастыре два храма, теплый да холодный, были многочисленные кельи, конюшни, гостиные избы, амбары, стены с башнями, а братии считалось до полутора сотен, но пять лет назад литовские люди иноков порубили и всё пожгли, только Трапезная и устояла. Из монахов уцелел один Гервасий. Говорит, что чудом Господним, а на самом деле благодаря схрону. Здесь, в Дубовой палате, со старинных времен устроен тайный чуланчик: две обшивные доски крепятся на незаметных петлях, и в стене малая ниша – прятать ценное. Когда напала литва – наскоком, неожиданно, так что и ворот затворить не успели, отец Гервасий, монастырский книжник, сидел в Трапезной, чинил переплеты. Спрятался в схрон, пересидел лихо. Спас себя и четыре книги,

какие успел схватить: букварь, псалтырь, «Часослов» и «Смарагд веры». Ими, оставшись одинешенек, и кормился.

Сначала он пробовал брать плату с путников за ночлег. Рядом проходил великий Смоленский шлях, а дома в округе все порушены, целой крыши не сыскать. После того первого, литовского, разорения были и другие. Кто только не озоровал: поляки, казаки, свои русские. В придорожных деревнях давно никто не живет, лишь одичавшие собаки. А в бывшем монастыре каменное здание, почти целое, и хозяином в нем Гервасий. Однако жить постойным доходом у старика не вышло. По шляху не боялись ездить только люди сильные, хищные, оружные. Эти ничего не платили – спасибо, если не прибьют. Прочие же крались тихо и укромно, обочинами. Да и платить за ночлег им было нечем. Которые просились под крышу Христа ради, отдаривались краюшкой хлеба, щепотью соли, парой репок или морковок. Давно подох бы монах от таких прибытков, если б не учительство.

А только и с этим было худо. От великой хлебной скудости, от ужасного повсеместного воровства и грабительства разбрелись люди подальше от шляха, забрали детишек с собой. Осталось у Гервасия два ученика: Маркел с Истомкой.

Маркел – потому что Бабочка жила в глухом лесу и лихих людей не боялась. Истомка – потому что его родитель, боровский воевода, поклонился Гервасию всем, что имел: дал связку вяленой рыбы и мешок муки за призрение сынка, а сам ушел спасаться куда глаза глядят. Не над кем ему стало воеводствовать. Ни стрельцов в Боровске не осталось, ни жителей.

Но рыба с мукой давно съедены, воевода бродил невесть где или, может, давно сгинул, и Истомка теперь жил нахлебником, чем Гервасий ему каждодневно пенял, а плату давал только Маркелка, верней Бабочка. Ее понедельничными приношениями и выживали.

…Под полом зашуршало громче обычного. Может, залезла приблудная кошка подхарчиться мышами, но Маркелка решил со скуки попугать приятеля:

– Кикимора заворочалась, – шепнул он. – Тоже и ей жрать охота.

Истомка забоялся, он был робкий.

– В опоганенных монастырях всегда нечисть селится… – Заежился. – Эх, сыскать бы где настоящую обитель. С церквой, с братией, с кельями. Затвориться бы от всего… Жить мирно, на службы ходить, послушания исполнять, молиться. То-то отрада, то-то счастье.

Маркелка фыркнул.

– Дурак ты. На что тебе в монахи? Ты ж дворянский сын! У тебя родовое имя есть, а вырастешь – будет и отчество. Нацепишь саблю, сядешь на коня, будешь служить царю, как батька – воеводой.

– Чем служить? – Истомка кисло вздохнул. – Поместья нету, дома нету, крестьяне разбежались. И кому служить-то? Царя тоже нету. В Москве ляхи, под Москвой казаки, да рязанское земское войско, да теперь еще, вишь, какое-то нижегородское…

От беспокойного придорожного житья была единственная польза – проходящие-проезжающие рассказывали, что творится на Руси. А творилось который год одно и то ж: все со всеми воюют, все друг дружку режут, в поле шалят разбойники, в лесах – шиши, в городах – тати. Еще есть ночные оборотни – днем люди как люди, а в темное время для прокормления берут кистень, грабят.

– В монастырь надо, в хороший. Там тихо, там спасение, – всё тосковал Истомка.

– Жгут и монастыри. Забыл? Выгляни в оконце, полюбуйся.

Приятель покосился на узкое окошко с выбитой рамой. Оттуда посмотреть – видно порушенные стены, пепелище, крест над братской могилой.

– Тогда давай в лес уйдем. Попроси Бабочку. Пусть заберет тебя. И меня с собой возьмите, не оставляйте здесь.

Глаза Истомки опять наполнились слезами, уже не от смеха. Про лес он сказал без надежды, а чтоб себя пожалеть.

– Там хорошо, – согласился Маркелка. – Не пойму, отчего люди леса боятся. В чащобе и захочешь – не пропадешь. Она накормит, напоит, укроет. Хищный

зверь без причины не нападет, а о злых людях лес издалека предупредит. Хлеба только нет, но на кой он нужен? Бабочка из грибной муки с травами знаешь какие лепехи печет? Их горячие трескать – ничего лучше нету.

Оба сглотнули. Истомка от голода, Маркелка от воспоминания, как хорошо жилось в лесу. Прошлой осенью Бабочка чуть не волоком притащила внука в монастырь, на учение-мучение. Она сама девчонкой росла с монашками, читала книги. Говорила, что без книжного знания прожила бы свой век, как куница или глупая белка, думая, будто лес и есть весь мир. Своего сына, Маркелкиного батю, Бабочка мальчиком тоже отдала учиться, а потом отпустила погулять по белому свету – чтоб после, когда вернется, не тосковал от лесной жизни, а понимал: в ней одной воля и покой. Батя гулял по миру шесть лет. Ушел отроком, вернулся мужем. И жену привел. Она была городская, чащи-болота боялась, поэтому родители поставили избушку на краю меж лесом и полем. Там Маркелка и родился, но ничего этого – ни избушки, ни поля, ни отца-матери не запомнил, маленький был. Зато Бабочка была всегда, и деревья над головой, и крик тридцати разных птиц, зимой треск очага, летом комариный звон. Мошкара висела над болотом тучей, но жалилась только в самый первый день. Если мошек-комаров не бить, не обижать, а приговаривать: кушайте, детушки, насыщайтеся, тоже и вам жить надо, то потом они уже не трогали, а лишь звенели радостно. Плохих людей в лесу не важивалось. Никаких не важивалось. Не добирались они до глухой чащи, не знали пути на болотный островок, где Маркелка жил с Бабочкой, и был он в лесу как царевич при царице.

И от такого вот привольного жития угодил в каменный плен к Гервасию. Главное, все четыре книги давно уже вызубрил наизусть, но чертов монах врал Бабочке, будто ведает еще некую сокровенную науку, до которой Маркелка пока не доучился, а нет никакой науки, просто старый брехун боится остаться без лесных приношений.

– А знаешь чего, – шепнул Маркелка и еще сам себе кивнул в знак решимости. – Нынче же скажу Бабочке, что боле тут жить не желаю. Или пускай Гервасий ей скажет, чему он меня недоучил, или уйду. И тебя с собой возьмем. Хочешь?

– Хочу! Очень хочу! – вскричал Истомка в голос.

Монах дернулся, разлепил веки.

– Пошто орешь? Поди-тко, ученик нерадивый. Персты на стол.

И указкой Истомку по пальцам, по пальцам.

Тот запищал, заканючил, а Маркелка на старика глядел дерзко. Его Гервасий никогда не наказывал. Бабочка, отдавая внука в учение, бить его не велела. Монах удивился – как это учить без битья? Всех бьют. Она ему в ответ: «Пускай всех бьют, а моего бить не будут».

Так и вышло: воеводского сына учитель и лупил, и на хлеб-воду сажал, и заставлял чистить нужное место утробной потребы (это он так называл нужник), а Маркелку, безродного лесного опенка, не трогал. Говорил, что жалеет сироту. Ага, пожалеет он. Просто времена теперь на Руси не те, что прежде. Это раньше было: кто воевода, тому и сытно, а теперь наоборот – кому сытно, тот и воевода.

– Где твоя бабушка-то? – проворчал монах, устав махать указкой. У него громко заурчало в брюхе. – К закату время. Не придет, старая грешня, нам и вечерять нечем.

– Придет. Только она не бабушка, сколько раз говорено. Она Бабочка.

– И то верно. Бабочка и есть. Не бабка, а не поймешь кто. Живет насекомым образом, без указа и порядка, на исповедь не хаживает, венчаной женой никогда не бывала, Бога не боится.

Бога Бабочка правда не боялась, и ничего не боялась, но что прожила не венчаной – это старик врал.

Был у Бабочки муж, а Маркелке дед. Какой положено – венчаный. Бабочка говорила: лес их повенчал, ручей благословил. И жили они ладно. Только недолго.

Про отца с матерью Бабочка все время по-разному рассказывала. То-де они на юг, на вольный Дон, за счастьем ушли, то на восток, за Сибирский Камень, а когда Маркелка был маленький – что обратились журавлями и улетели за тридевять земель. Зато про деда всегда говорила одинаково. Что он был веселый, вольный человек, лесной охотник. Его медведь задрал. Бабочка за это

медведей не любила и в свой лес не пускала, а шкура того шатуна, что деду когтем пробил висок, поныне лежит в избушке на полу.

Деда тоже звали Маркелом. И отца. «Один Маркел не пожил, второй сгинул, а ты, Маркел Третий, будешь жить долго», – говорила Бабочка. И во всем она так: если что затеяла, нипочем не отступится.

Гервасий, правда, про батю с матушкой врал, будто они померли в большое моровое поветрие. Десять лет назад Господь наслал на русских людей тяжкую кару, чтоб не грязнились в грехе. Три года подряд осенью земля родила мертвый хлеб, зимой стояли великие стужи, а летом воды делались болезненны. Кто не померз в зимний холод и не посох от голода, те помирали от брюшной скорби. И людишки в те годы роптали, сетовали в своем неразумии, что вот-де, велика кара, а то еще была кара малая. Настоящий Божий гнев был явлен Руси, когда никто не покаялся – ни царь Борис, ни вся держава его. И тогда ополчил Господь на нераскаянных чад своих сонмища бесов: и литву, и ляхов, и казаков, и гилевщиков, и татар, и мнимых царей с царевичами. Гервасий мог про это долго плакать, не остановишь.

Но Маркелка монаху не верил, верил Бабочке. Батя с матушкой живут себе на донском или сибирском просторе и когда-нибудь объявятся, сынка проведать.

А монах всё глядел на Маркелку, жевал губами.

– Ох, сирота ты убогий. Что с тобою будет? Господь наградил тебя великой памятью и мог бы ты стать ученым книжником, но не станешь, ибо Он же наказал тебя непоседливым нравом, дерзостью и быстроумием. Сугубая это для человека беда – быстроумие. Сказано: кто разумом скор, скорее и сгубится. Трепещу я за тебя, Маркел. Вырастешь ты шпынем бессмысленным, к Божьему и людскому закону непочтительным. С такими знаешь что бывает? Вешают их веревкой за шею. Или, того хуже, цепляют железным крюком под ребро, и виси, пока не сдохнешь. То и тебя ждет, коли не умиришься нравом.

Гервасий с Маркелкой часто так разговаривал: бранить не бранил, и слова вроде участливые, а злые. И глаза такие же – будто две колючки.

– Ты раньше меня сдохнешь, – огрызнулся Маркел. – Вот нынче уйду с Бабочкой, околеешь тут с голоду.

Говорить такое учителю, конечно, нехорошо, а только нечего ему прикидываться добреньким, когда сам весь сочится ядом.

Монах устремил взор к потолку. Чувствительно, со слезою возгласил:

– Освободиши от духа моего душу мою! Дай смерти костям моим! Не вечно же мне жити в долготерпении! Отпустиши мя, Господи, тяжко бо житие мое! Ныне же, в сей самый день, яви мне злосчастному Свою великую милость! Изыми мя отсель, еже не померкло еще сегодневное светило!

И долго молил Бога о смерти, прибавляя к плачу многострадального Иова собственные жалобы, так что Маркелке сделалось совестно: зачем обидел старого старика? Даже заколебался, просить ли сегодня Бабочку, чтобы забрала с собой. В самом деле околеет ведь Гервасий без лесного корма.

Но тут Истомка, топтавшийся у оконца, радостно закричал:

– Идет! Идет!

Монах сразу жалиться перестал, а Маркелка вприпрыжку понесся к двери, скатился по ступенькам каменной лестницы, вылетел наружу.

Она уже подходила к крыльцу – легкая, быстрая, будто порхающая над землей. Издали поглядеть – не женка, а муж, даже юнак, потому что в штанах лосиной кожи, кожаной же свитке, на голове зимой и летом меховая шапка, из-под которой на спину свисает волосяной хвост. Но вблизи видно, что лицо морщинистое. Медленный взгляд тоже не молод, а вприщур и пригашенный, будто обращен внутрь себя. Это от лесной жизни, где слух нужнее зрения. Бабочка слышала почти так же чутко, как Каркун с Каркухой – воронья пара, жившая под крышей лесной избушки и карканьем извещавшая о чужих за полтыщи шагов.

– Оголодали? – засмеялась Бабочка, скаля крепкие желтые зубы. Хлопнула Маркелку по плечу, взъерошила волосы. Он привычно подставил под щелчок лоб, где была такая же круглая родинка, как у Бабочки, только у нее розовая, а у него вишневая.

После щелчка ткнулись друг в друга лбами – всегда так делали после разлуки.

– Забери нас с Истомкой отсюда, – быстро, пока не вышел Гервасий, попросил Маркелка. – Ничему он нас больше не научит, сижу тут без толку. Истомка в лесу жить не умеет, но научится. Он парень ничего, пугливый только. На охоту не сгодится, но может грибы собирать, ягоды. А? Станем жить, как раньше. А?

Однако на крыльцо уже выковылял старец.

– Господь тя благослови, милая. – Он ласково, мелко крестил гостью. – Его попекой да твоими щедротами только и выживаем. Закатай-травы от почечуя, какую обещала, принесла ли?

Истомка тоже не молчал, кланялся:

– Здорова ли, бабинька? Не хворала ли?

Она поднималась по лестнице и смеялась, отвечала всем сразу.

Маркелке:

– Испытаю тебя, какой ты книжник. Не забыла я еще, чему в девичестве учили.

Монаху:

– Принесла-принесла. Только уж ты сам натирайся. Объясню, как.

А Истомке, потрепав по вихрам:

– Я отродясь не хворала. А поживешь в лесу, и ты болеть не будешь.

И всем сразу стало спокойно, весело. Маркелка чуть не прыгал, Истомка, услышав про лес, засиял, а Гервасий довольно поглядывал на увесистый мешок, который на бабочкиной спине сидел легко, словно пуховая подушка.

В Дубовой палате на стол из мешка переместились низки сушеных боровиков, копченая кабанина, связки вяленой плотвы, туес смородины, разные травы – в кипятке заваривать. Монах подхватывал, пихал под скамью, в ларь, который потом запирал на ключ. Ребятам дай волю – за день всё умнут, а надо как-то до следующего понеделка кормиться. Кое-что старик потихоньку съедал сам, в одиночку, особенно ягоды. Да хоть бы всё сожрал, только бы уйти отсюда!

– Спрашивай меня, Бабочка! – потребовал Маркелка. – Хошь – по псалтырю, хошь по «Часослову», хошь по «Смарагду веры». С любого места. А потом спроси его, – кивнул на Гервасия, – такое, чего он знает, а я не знаю. Скажет – останусь. Нет – уводи нас отсюда к лешему!

– Чего это, чего это? – забеспокоился учитель. – Мы еще ни в космогонию не взошли, яко Солнце и звезды вокруг Земли обращаются, ни в «Иерусалимскую беседу», повествующую, яко твердь стоит на осьмидесяти малых китах и трех больших, ни в географическую науку. Где обретается страна псоглавцев – ведаешь? А где правит Иоанн-пресвитер? То-то.

Он хотел воссиять еще какой-то ученостью, но Бабочка вдруг повернулась к окну, за которым пунцовела вечерняя заря, подняла руку:

– Тихо. Скачет кто-то.

Все прислушались.

– Нет никого, – сказал Гервасий. – Померещилось тебе.

Маркелка тоже ничего не услыхал, но знал: Бабочка зря говорить не станет.

– Один конный. Гонит ходко. За ним другие многие, медленно.

И точно. Миг спустя вдали послышался дробный перестук, а еще через полминуты в обширный запустелый двор влетел верховой и завертелся на месте, осаживая коня.

Человек был польский – видно по куцей шапочке с пером, по синему с разговорами кунтушу. Поляк – это еще ладно, у них какой-никакой порядок есть. Воровские казаки или гулящие тати хуже. Поэтому прятаться не стали.

Шикнув «Еду в ларь приберите», Гервасий захромал встречать гостя. Время было к вечеру, уже смеркалось. Если приезжий хочет заночевать, может, заплатит?

Маркелка с Бабочкой и Истомкой остались смотреть из окошка, но не высовывались.

Лях подъехал ближе. На коне он сидел ловко, будто на стульце. Поводьев не держал: одной рукой подбоченивался, с другой на шнурке свисал кистень.

Кланяясь, подсеменил монах. Что-то искательно сказал – сверху не разобрать.

Зато у всадника голос был звонкий, юношеский.

– Один тут монашествуешь? – Сказано было на чистом русском, без ляшской шепелявости. – Это хорошо, что один.

Конный чуть качнул правой рукой, ухватил кистень за рукоять и небрежным, ленивым, но в то же время неописуемо быстрым взмахом обрушил железное яблоко старику на голову. Что-то там в голове хрустнуло, Гервасий молча опрокинулся, распростал руки и остался недвижим.

Если б Бабочка не зажала одной ладонью рот внуку, а другой Истомке, кто-нибудь из них от ужаса заорал бы. Маркелка же только мыкнул, Истомка шумно вдохнул.

Душегубец приподнялся в стременах, сложил пальцы у губ кольцом, пронзительно засвистел.

Через малое время из пролома в стене повалили конные, гурьба за гурьбой, и вскоре заполонили пол-двора, от обломков Восточной башни до обломков Северной.

– Не икай! – тихо велела Бабочка Истомке.

Но ляхи Истомкиного иканья все равно бы не услыхали. У них ржали лошади, перестукивали копыта, звенела сбруя. А еще орали-гоготали сотни три луженых глоток.

Потом все разом притихли.

В пролом, отдельно от всех, въехали еще двое, на хороших лошадях с богатыми чепраками. Один всадник большой и толстый, второй тонкий и маленький. Оба нарядные.

Тот, что убил Гервасия, поскакал им навстречу. Остановил коня, как гвоздями приколотил. Что-то стал объяснять, показывая на Трапезную. Толстый – он, видать, был главным – басом ответил.

Обернувшись к отряду, убийца тонко крикнул непонятное:

– Zsiadac! Rozkulbaczyc konie! Skrzesac ogniska! Rozbijemy oboz tutaj, pod murem!

Эти трое поехали шагом через двор, а остальные начали спешиваться.

– Плохие у нас дела, – шепнула Бабочка. – Ночевать будут. Жолнеры во дворе, а начальные люди, должно быть, здесь, под крышей. Есть другой выход, чтоб не во двор?

– Нету. – Маркелка потирал губы – очень уж крепко их Бабочка давеча прижала. – Чего делать-то, а?

Толстый лях грузно слез подле крыльца. Другому, маленькому, помог сойти на землю молодой душегуб.

Главный что-то спросил, показав на мертвого старца Гервасия.

Злодей ответил:

– Tak bedzie bezpieczniej, panie pulkowniku. Mogl przekazac wiesci kozakom albo ziemtsom.

Бабочка тряхнула Маркела за плечи.

– Если другой двери нет, надо прятаться. Куда? Думай быстро!

Таким же сдавленным шепотом она говорила в засаде, когда ждала с самострелом оленя или лося.

Придумал не Маркел – Истомка.

– В схрон надо. Где Гервасий от литвы спасался!

Еле-еле успели втиснуться и закрыться досками.

У порога уже звучали шаги – сначала гулкие, по каменным плитам, потом скрипучие, по дереву.

Сначала прижимались друг к дружке неловко, кое-как. Схрон был шириной с аршин, глубиной того меньше. Шевелиться боялись – вдруг поляки услышат? Но понемножку обустроились, потому что те, в палате, сами делали много шума – расхаживали, грохотали, вели меж собой разговоры.

– Poruczniku, wystaw straze przy bramie. Niech sie zmieniaja co dwie godziny. Zostaniesz tu z regimentem jako dowodca, – говорил жирный, привычный командовать голос.

Другой, звонкий, уже знакомый, бодро отвечал:

– Tak jest, panie pulkowniku!

Бабочка приладилась глядеть в щель между досок. Маркелка тоже, но пониже, со своего роста. Вскоре, соскучившись жаться в темноте, приник к зазору и Истомка – совсем внизу, с корточек. Так в шесть глаз, в три яруса, и глядели.

Польский пулковник – его Маркелка рассмотрел первым – был важен, не иначе ихний ляшский боярин. Одет в парчу, сапоги ал-сафьян, на толстых пальцах златые перстни. Только собою негож: с мясистой рожи свисали сосулями два длинных уса, на щеке шишка, а снял бархатную с алмазной пряжкой шапку – под ней наполовину плешивая башка.

Зато второй, поручник, вблизи оказался красавец. Брови у него были дугами, нос ястребиный, под ним стрелками тонкие черные усы, губы красные, зубы белые. Станом гибок, движениями легок, одет в синий кунтуш, перепоясанный сребротканным кушаком, порты красные, сапожки желты. Если б не был злодей и кровопролитец – заглядишься.

Обернулся он к третьему ляху, до которого Маркелка взглядом еще не добрался, и сказал не по-польски, а по-русски:

– Повезло вам с первым постоем, госпожа. Не в поле переночуете, под крышей.

Маркелка, конечно, удивился. Третий оказался не третий, а третья. Молодая женка или, пожалуй, дева, только наряженная по-мужски.

Ух какая!

Пожив в Неопалимовской обители, близ шляха, Маркелка повидал много разных людей, но почти сплошь мужеского пола, потому что бабам шляться по дорогам некуда и незачем. Разве что нищенки-побирухи забредут, но они все рваные, жуткие, а некоторые еще нарочно рожу мажут грязью, чтоб никто не польстился.

А оказывается, женки бывают вон какие.

Очи у ряженой были широко раскрытые, ясные, щеки в розов цвет, губы лепестками, зубы – как яблоко молочной породы, а выпростала из перчатки руку – пальчики будто вырезаны из белой редьки.

Когда Маркел был маленький, Бабочка рассказывала сказку про Василису Ненаглядную, на которую кто посмотрит – взора отвести уже не сумеет, никогда досыта не наглядится. Эта была точь-в-точь такая. Чудесная дева сдернула шапку и стала еще ненаглядней, потому что на спину тяжело упали золотые власа, заискрившиеся в последнем луче заоконного солнца.

Подошла чудесная Василиса к пулковнику, потерлась точеным носиком о его плечо.

– Ежик, я так устала! Даже есть не хочу, только бы лечь. Как из Москвы с утра поехали, всего разок отдохнули. Вели пану поручнику распорядиться, чтоб нам стелили.

Она была русская, московская – слышно по говору. Боярышня или княжна, а хоть бы и царевна – Маркелка бы этому не удивился. Запечалился только, что Василиса Ненаглядная с этаким боровом милуется. Может, он волшебник, который ее заколдовал и видится ей писаным красавцем? Наверно, так. Иначе чем объяснить?

– Прикажешь тащить тюфяки, пан пулковник? – спросил молодой. – Могу принести и беруо.

Маркелка задрал голову, шепнул:

– Бабочка, что это – беруо?

Она качнула подбородком – не знала. Легонько шлепнула по затылку: тихо ты!

А пулковник сказал:

– Нет, Вильчек. Стража никому кроме меня не отдаст. Пойду сам, а ты побудь с пани Маришкой.

Тоже и он говорил по-нашему легко, хоть немного нечисто. Верно, не лях, а литвин. Они, литовцы, те же русские, и многие даже православной веры, только служат польскому королю. Ныне, правда, на Руси и царь стал польский, Владислав Жигмонтович, только не все его признают. И те, которые не хотят ему присягать, бьются с теми, которые присягнули, но и промеж собой тоже бьются, русские с русскими, ибо никто ни с кем ни в чем договориться не умеет, и все воюют со всеми.

А что Василису Ненаглядную, выходит, зовут некрасиво – Маришкой, было жалко. Маркелка от этого расстроился.

Однако самое удивительное было впереди.

Едва за пулковником закрылась дверь, Маришка-Василиса кинулась на поручника и обхватила его за шею, будто собралась задушить или покусать, но не задушила, а обняла, не укусила – поцеловала в уста.

– Когда ты избавишь меня от этого борова! – говорила она между поцелуями. – Еще одну ночь с ним я не вынесу! Ты обещал, что мы уедем! Когда же, когда?

– Нынче же, – ответил ей поручник Вильчек. – Для того я вас сюда и поместил.

Она всё ластилась:

– Сладкий ты мой, ладненький! Ах, какие у тебя очи! Одно светлее ясного дня, другое чернее ночи! А как в седле сидишь – будто на коне родился.

– Считай, так и есть. – Поручник бережно высвободился, стал зажигать свечи в подсвечнике. Закат уже погас, в палате становилось темно. – С одиннадцати лет

не вылезаю из седла. Как мальчонкой в Путивле пристал к царевичу Дмитрию, так с тех пор всё скачу, саблей машу. Тогда меня поляки и прозвали Вильчеком. Это по-ихнему «волчок».

С одиннадцати лет воюет, позавидовал Маркелка. Ему самому было уже двенадцать, а ничего не видал, кроме леса да книг.

Маришка-Василиса молвила странное:

– Ты не волчок, ты жеребчик. – И чему-то засмеялась. – Сожми меня крепко, как давеча.

– Наобнимаемся, успеем еще. – Вильчек деловито озирался. – Возьмем что нужно, уйдем, и вся жизнь потом будет наша.

Он подошел к двери.

– Тут засов. На ночь пан Ежи запрется. Ты слушай в оба уха. Когда я вот так тихонько поскребу – откроешь.

– Всё сделаю, любый. Обними меня.

Хотела она сызнова к нему кинуться, но поручник шикнул:

– Возвращается! К окну отойди!

Сам скинул со стола псалтырь, оставшийся с урока, поставил на краешек подсвечник.

Вошел пулковник, неся под мышкой что-то узкое, завернутое в шелк. Следом два жолнера тащили тюфяки, подушки, меховое одеяло.

– Стол крепкий, пан пулковник, – доложил поручник. – На нем вам с пани Марией ладно будет, мыши не обеспокоят. – И солдатам: – Sluzba, zrobcie tu poslanie!

Боров, который, оказывается, был никакой не волшебник, а глупый дурак, потянулся, зевнул.

– Ступай, Вильчек. Пригляди за людьми. В поле поставь дозорных. Да что я тебя учу. Сам знаешь.

– Знаю, пан пулковник.

Пока жолнеры шуршали, устраивая постель, Маркелка уныло спросил:

– Бабочка, нам что тут теперь, до утра сидеть?

Снизу пискнул Истомка:

– Мне до ветру надо! Я до утра не стерплю!

Оба получили по затыльному щелчку.

– До утра сидеть не придется, – шепнула Бабочка. – Тут что-то будет. Неспроста этот велел ей дверь открыть. Сидите тихо, не ерзайте.

Снаружи совсем стемнело, но жолнеры принесли еще шандалов и поставили их по всему краю стола, превратившегося в ложе. В палате посветлело.

Когда пулковник остался наедине с разочаровавшей Маркелку красой-девой, та скинула мужской наряд и сапожки, уселась по-татарски, поджав ноги, на скамью и захрустела яблоком. Пан тоже сел, развернул свой сверток и принялся что-то разглядывать, но за его спиной было не углядеть, что именно.

– Ах, диво пречудесное. Ишь, сверкает! – восхитилась Маришка. – Дай посмотреть, Ежинька.

Он протянул какую-то штуку – вроде недлинной палки, но сплошь златопереливчатой, а на кончике шар, залучившийся кровавыми бликами.

– На, любуйся. Воображай, что ты царица московская. – Пулковник хохотнул. – Хотя царице держать скипетр не положено. Только царю.

Дева махнула златым жезлом, по стенам рассыпались отсветы.

– Сам грозный царь Иван для себя произвел. Дай-ка. – Боров отобрал штуку обратно. – Видишь, тут вот всё алмазы, а в навершии червленый яхонт, которому цены нет. Он на свете один такой. Сказывают, вначале яхонт был розовый, но чем больше царь Иван лил крови, тем красней становился камень. Теперь, зри, он вовсе красный, будто кровавый сгусток.

– Ловко ты, Ежик, этакую лепоту из кремлевской сокровищницы увел! – восхитилась Маришка.

Пан засердился.

– Ежи Сапега не вор! Скипетр мне выдан самим московским комендантом паном Гонсевским, в залог! Год назад я привел на службу к королевичу Владиславу полк в восемьсот сабель за восемь тысяч злотых в месяц, а ничего не уплачено. Ныне Владислав – царь московский. Коли хочет получить свой царский скипетр, пускай рассчитается сполна. Да не за триста человек, которые у меня остались, а и за тех, кто сложили голову на королевской службе!

– Это сколько ж денег выйдет? – спросила красавица, видно, не сильная в цифири.

– Под сто тысяч. А если не скоро расплатятся, то и больше.

Она качнула златовласой головкой:

– Скипетр много дороже ста тысяч стоит.

– Пускай. Мы, Сапеги, на монаршие регалии не покушаемся. Но свое, честно заслуженное саблей, изволь нам отдать… Укладывайся, котухнечка. Спать

будем.

Пулковник снова зевнул, снимая жупан. Сел стягивать сапоги, а саблю и пистоль положил на скамью – чтоб легко было дотянуться с ложа.

Вдруг Бабочка вздрогнула.

– Что? – шепнул Маркелка.

– Вскрикнул кто-то…

Маркелка ничего такого не слыхал, а вот пулковник, которому до двери было ближе, кажется, тоже что-то учуял.

– Hej! Co tam sie dzieje?

– To ja, Wilczek! – донеслось с той стороны. – Sprawdzam straze!

– Говорит, проверяет караулы, – шепнула Бабочка. – Врет. Упал там кто-то.

– Не шумите там, мы с пани делом заняты, – по-русски ответил пулковник и подмигнул Маришке.

Она засмеялась – будто кошка замурлыкала.

Приподнялась на цыпочки да давай танцевать, легонько кружась, приседая, вытягивая руки-ноги и понемногу, покров за покровом, снимая с себя одежду. Чего было быстро не раздеться, коли уж спать собралась, Маркелка не понял.

А пулковник пялился, застыв с сапогом в руке, да ухмылялся.

– Ну, на такое вам смотреть рано, – вздохнула Бабочка.

На лицо Маркелке легла ладонь, ослепила. Внизу недовольно хрюкнул Истомка – знать, и до него Бабочка дотянулась.

– Ложись, коханый, и зажмурься, – нежно приговаривала Маришка. – Я тебе сладко сделаю… Вот так, ладно… Нет, хитрый какой. Не подглядывай! Дай я тебе глаза завяжу.

Слышалась невесомая поступь, даже рассохшийся пол поскрипывал еле-еле.

Вывернувшись из-под бабочкиной руки, Маркелка прильнул к щели – очень уж хотелось посмотреть, что у них там делается. Истомка-то внизу сидел смирно, только посапывал.

Ух ты!

Маришка, вовсе телешом, стояла у самой двери, а пулковник лежал на столе, толстым брюхом кверху, лицо прикрыто той самой шелковой тряпицей, в которую раньше был завернут царский скипетр.

– Где же ты, котухнечка? – пробасил он.

Голая дева сдвинула засов и отскочила. Маркелка на нее засмотрелся (эвона как оно всё у женок-то устроено – на диво!) и проглядел миг, когда в Дубовую палату вбежал поручник, быстрый, как кинувшийся на добычу волк. Он не бежал – несся поскоком. Зубы ощерены, глаза сверкают, в руке сабля, темная от крови.

Пан Сапега на шум сдернул с лица ткань, сел, зарычал по-медвежьи. Спустил руку и даже успел ухватить рукоятку пистоля, но сверкнула сталь, и рык перешел в хрип, пальцы разжались, а сам пулковник сверзся со стола на скамью, со скамьи наземь. Полуотсеченная голова съехала набок, будто у надломленного репейника, а на доски толчками хлынула черная кровь.

Бабочкина рука зажала Маркелке уже не глаза, а губы, но он и так не крикнул бы – закоченел.

– А караульные? – спросила Маришка, клацая зубами. Она стояла, съежившись, обхватив себя за плечи, вся на виду, но Маркелка на нагую женку больше не смотрел – только на льющуюся из разрубленного горла кровь. Она уже не хлестала, а просто текла, но отвести взгляд от растекающейся лужи не было мочи.

Вильчек вытирал клинок об одеяло.

– За дверью лежат. Сработал обоих. Где скипетр?

Но увидел сам и жадно схватил, поднес к глазам.

– Богатырь мой! – всхлипнула Маришка. – На какую страсть ради меня пошел! Сейчас оденусь, любый. Я быстро! Коней приготовил?

Поручник молчал, завороженно глядя на мерцание красного камня.

– А?

Она, уже в сорочке, взялась за чулок.

– Двух или четырех? Сменных бы надо. Погоня будет.

– А? – повторил он – всё не мог оторваться. – Коней? Двух.

– Что ж не четырех?

– Мне хватит.

И повернулся к ней, отложил жезл, покачал саблей.

– На кой ты мне теперь сдалась?

И снизу вверх, легким косым ударом полоснул деву по шее, от ключицы до подбородка. Вот сейчас бабочкина рука, зажимавшая Маркелке рот, получилась очень кстати. От неожиданности отрок только дернулся, а не ладонь – заорал

бы.

Лбом он стукнулся о дверцу, но этот звук заглушился шумом падающего тела.

Страшный человек, так легко обрывавший чужие жизни, резко обернулся к окну – оттуда крикнули:

– Panie pulkowniku! Przepraszam za najscie, ale nie moge znalezc pana porucznika. Zolnierze chca wodki!

Вильчек быстро подошел к окну, высунулся.

– Oto jestem! Teraz wychodze!

Положил скипетр на стол, снова вытер мокрую саблю, поспешил к выходу. Перешагивая через мертвую женщину, даже не посмотрел на нее.

– Чего он? Куда? – спросил Маркелка, потому что Бабочка убрала руку.

Снизу подал голос Истомка:

– Что тут было-то? Я до ветру хочу! Мочи нет!

Бабочка толкнула дверцу.

– За мной! Скорей! Уходить надо, пока ирод не вернулся! На дворе темно, авось не приметят.

Выскочила первая, они следом. Истомка шарахнулся от убитого пана, потом споткнулся об убитую, ойкнул. Маркелка схватил его, сомлевшего, за руку. Потащил.

А Бабочка побежала не прямо к двери. Завернула к столу, схватила там что-то.

Скипетр!

– Зачем тебе? – испугался Маркелка.

– Этому, что ли, оставлять? Быстрей, быстрей!

Она замахала рукой, пропуская мальчишек вперед.

За дверью Истомка снова вскрикнул. Там на верхней площадке лестницы лежали еще двое: один ничком, другой навзничь. Караульные, которых «сработал» Вильчек.

Нижняя дверь, что вела на улицу, была нараспашку – светящийся красноватый прямоугольник. Это от пылающих во дворе костров, догадался Маркелка, прикидывая: надо по крыльцу спуститься тихонько, пригнувшись, потом нырнуть за угол, в темноту, добежать до стенного пролома и полем к лесу. В лесу не догонят и не сыщут.

Но дверной проем вдруг потемнел, полузаслоненный узким силуэтом.

Вернулся!

– Кто там? – тихо молвил Вильчек, щурясь, чтоб лучше видеть, а рука уже легла на рукоять сабли.

– Назад бегите! – Бабочка зацепила Маркелку и Истомку за ворот, рванула на себя. – Прыгайте в окошко!

Мальчишки рванулись вверх по лестнице, мимо мертвых часовых, в Дубовую. Бабочка бежала сзади, подталкивала в спины.

А следом грохотали сапоги. Что-то вжикнуло. Маркелка сообразил: сабля из ножен.

У самого оконца он остановился. Проем был узехонький. Они-то с Истомкой протиснутся, а Бабочка как же?

Обернулся.

Оказывается, Бабочка бежать и не собиралась. Она стояла лицом к двери, в руке длинный охотничий нож, всегда висевший на поясе. И уже подступал к ней Вильчек, покачивая обнаженным клинком. Сейчас зарубит! По лицу поручника гуляли тени от качающегося свечного огня, и страшное это лицо, оставаясь неподвижным, словно гримасничало. Душегуб подступал неспешно, зная, что Бабочке деться некуда.

Вот он махнул саблей – так же ловко, как давеча, да не на ту напал. Бабочка легко увернулась, отступив на два шажка.

Тогда лицо задвигалось, исказилось злобой. Клинок свистнул по воздуху второй раз и третий – быстрей, еще быстрей. И опять Бабочка уклонилась. При всей шустроте поручник был не резвее волка, когда тот кидается с ощеренной пастью, но ни один матерый никогда не мог достать Бабочку зубами. Не волк ты, а волчок, злорадно подумал Маркелка.

– Прыгайте вы, мальки! – крикнула Бабочка, коротко оглянувшись.

А Истомка вскарабкался на оконницу – и ни туда, ни сюда. Высунулся – отпрянул.

– Боязно!

– Не ори! На дворе услышат!

Маркелка стал пихать дружка в тощую задницу.

– Прыгай же!

Тот упирался.

Обернулся Маркелка сызнова и увидел, что дело худо. Поручник стал наступать по-другому: не рубил воздух, а угрожающе заносил саблю то с одной стороны, то с другой, тесня Бабочку в угол.

Вот ей пятиться стало некуда. Слева стена и справа стена.

Мелькнуло что-то, молнией. Это Бабочка метнула нож. Кидала она всегда без промаха, бывало, с десяти шагов сшибала с дерева дикую кошку. Научила этой премудрости и внука. Сколько орешков было в ножички выиграно, сколько щелбанов отвешано по чужим лбам!

Но Вильчек оказался проворнее рыси. Он качнулся вбок – нож пролетел в вершке от его горла, а сабля вдруг нанесла удар пыром и пригвоздила Бабочку к деревянной стене.

Маркелка закричал.

– Бе…ги… – донесся тихий, вроде как и не бабочкин голос.

Поручник повернулся. Рывком выдернул клинок и пошел на Маркелку, а Бабочка сползла по стене на пол.

Бежать мочи не было. Как убежишь, если Бабочка сидит у стены, зажимает руками живот, беззвучно шевелит губами – повторяет «беги, беги», а ничего не слышно?

Подошел Вильчек, не очень-то и торопясь. Саблю сунул в ножны. Одной рукой взял за шею Маркелку, другой стащил с оконницы Истомку. Ухватил обоих за воротники, крепко.

Вблизи глаза у Вильчека оказались диковинными. Один светло-светло-голубой, второй черный. Вот про что Маришка тогда говорила-то – про очи светлее дня и темнее ночи.

– Где он? – спросил поручник, переводя свой двухцветный взгляд с Маркелки на Истомку, а потом обратно на Маркелку.

Маркелке сказал:

– Гляди.

Выпустил ворот, вынул кинжал и без единого слова, даже не нахмурив бровей, воткнул Истомке в глаз, повернул там и выдернул.

По-цыплячьи пискнув, приятель пристукнул каблуком по полу, чуть трепыхнулся – и обвис головой книзу. Вильчек держал его за ворот, будто заячью тушку.

– Тоже так хочешь? – сказал он.

Отпустил Истомку – тот свалился, а Маркелку поручник выволок на середину палаты, к столу и подсвечникам.

– Говори! – Перед самым лицом покачивался острый кинжал. – Где скипетр?

– Не брал я… – пролепетал Маркелка.

Он не мог отвести глаз от кровавой полоски стали.

– Ну, пеняй на себя… – грозно прошипел поручник, да вдруг взвыл: – А-а!

Это Бабочка проползла по полу, оставляя за собой красную дорожку, обхватила ирода сзади за ноги, вцепилась зубами.

Маркелка вырвался, развернулся, понесся к окну и кое-как, обдирая плечи, просунулся в узкий проем. Ухнул головой вниз, ударился о землю, но боли не почувствовал, а тут же вскочил и побежал, побежал, побежал – вперед, в темноту, прочь от желто-красных костров.

Вторник

Сыск без зазора

Покушавши калача с квасом, потолковав о дороговизне со стряпчими, до слезы позевав на крыльце (денек был солнечный, для апреля теплый), Кузьма Шубин, старый первостатейный подьячий душегубных дел, хотел было со скуки-безделья раньше нужного пойти домой, поспать перед обедом, однако некий тихий глас, вечный друг-помощник, шепнул на ухо: погодь, Кузьма Иваныч, побудь еще на дворе.

Служба у Шубина была такая, что либо начиналась прямо с самого утра, после ночных разбойных дел, а коли за ночь никакого душегубства не случилось, так ты и ненадобен. Но все же остался, послушался голоса. Походил меж столов, на которых кипами возвышались бумажные стопы (слева нечтеные, справа уже на подклейку в столбцы), для порядка поучил суровым словом писцов, одного по-отечески ткнул в масляный затылок, молодших подьячих – кого одарил кивком, с иными и поручкался, потом, от скуки же, прикрикнул на просителей – по стенке стойте, по стенке.

И что же? Не подвел глас-заступник. Через невеликое время из глубины длинной-предлинной приказной избы, от дверей начальственной горницы (называется «Казенная»), донеслось:

– Шубина, Шубина! Кузьму Шубина! К судье!

Не зря, выходит, без дела маялся.

На зов главного приказного начальника старый подьячий поспешил дробной рысцой, а в горницу влетел соколом: бодро, радостно, как и полагается входить к большому человеку. Тут я, Шубин. Как лист перед травой. Всегда готовый.

Для старого-первостатейного Кузьма был молоденек, достиг этого хорошего чина в свежих еще летах. В окладистой бородище не белело ни единого седого волоска. Самой приметной чертой багрового лица были густые брови, обладавшие удивительной подвижностью. При взгляде на подчиненных они сурово содвигались, так что глаза из-под них сверкали будто из тени, с грозной таинственностью, зато перед начальниками брови умильно поднимались буквицей «люди», открывая взор совсем иной – ясный, открытый и старательный. Потому все человеки относились к Кузьме как следовало: нижние трепетали, верхние благоволили.

– А, не ушел еще? Это хорошо. Поди-ка, дело есть, – глянул на подьячего от стола, поверх чернильницы с двумя перьями, судья Земского приказа Степан Матвеевич Проестев.

Говорил он всегда тихо, безо всякого поспешания. Мягкий был человек, на вид тюфяк тюфяком. Круглое, мятое лицо сошло бы за бабье, если б не пушистая борода. По-бабьи был тонок и голос. Однако всё это была одна мнимость. В натуре Степана Матвеевича бабьего не имелось и малой щепотки. Приказных людишек судья держал на короткой узде, а тати при одном имени Проестева крестились и трижды плевали через плечо.

Земский приказ ведал многими московскими делами: и питейными, и пожарными, и надзирательными, но пуще всего – обережением от зломысленных деяний и воровских обычаев. После великого польского разорения и многоубийства город стал нищ, скудолюден и злобен, развелось много шпыней, привычных к грабежу и крови, народишко отвык от порядка, залютел. И долгое время была Москва вроде Дикого Поля. Бродили по ней разбойники, и грабили, и убивали, а сыскивать их было некому. Но тому три года, а после воцарения великого государя Михаила Федоровича, на четвертый год, поставили в Земский приказ судьей Степана Проестева, и он без шума и надсада, вроде бы и не торопясь, а в то же время быстро (как всё, что он делал), стал приводить город и посады в успокоение. Первое, что учинил – поделил Москву на околотки, в каждом по полусотне дворов, и на ночь велел каждый околоток запирать решеткой со сторожем, а у сторожа железное било. Чуть что не так, служивый колотит тревогу, и бежит на шум решеточный прикащик с подмогой, а тех прикащиков по одному на четыре околотка. И еще объезжий голова с десятком конных стрельцов кружит по городу с заката до рассвета: берегись, воры и грабители!

Стало татям в Москве негодно. Большие шайки сами ушли, всякую мелочь повыловили, иные же попрятали ножи с кистенями, начали христарадничать – голова целее, а с голоду в столице не помрешь, сердобольствующих много.

Оттого старый подьячий Шубин, приставленный ведать душегубствами, и заскучал, оттого и разъелся до полуторного кушака. Ныне ему выпадала служба хорошо если один-два раза в неделю.

– Что за дело, Степан Матвеевич? Убили кого? На какой же это улице? – спросил Кузьма, удивляясь.

Кабы за ночь кого где порешили, в приказной избе было бы уже ведомо – ему первому. Однако ничего такого ни молодшие подьячие, ни решеточные прикащики не доносили.

Судья вышел из-за стола, бесшумно ступая в мягких татарских сапогах. Руки по обыкновению сунул за пояс, не любил качать ими без толку.

– В том-то и дело, что не на улице. В доме. Да в каком доме… За Китаем-городом, на Подкопае, двор князя Лычкина. – (Шубин кивнул: знаю). – Борис Левонтьевич Лычкин по своей первой жене нам, Проестевым, свойственник. Беда у князь-Бориса. Дочерь ночью убили. Ножом. Неведомо кто.

Степан Матвеевич жалостно дрогнул и без того хлипким голосом. Подьячий перекрестился, вежливо сказал:

– Страсть какая.

– Князь ко мне написал, помочь просит, слезно.

– А… чем помочь-то? – не понял Кузьма. – Коли Бог взял, как тут поможешь? Обратно ведь княжну не воскресишь?

Слеза, выступившая на глазу судьи (он был на плач скор), блеснула уже не жалостно, а сердито.

– Ты дураком-то не будь. Жалованье государево, два рубля с полтиной, тебе не за то платят, чтоб ты убитых воскрешал. А за что?

– За то, чтоб я убийц сыскивал. – Шубин вытянулся. – Только, воля твоя, не понял я, о чем князь Лычкин тебя просит. Мы бы и так, без его прошения, сыск учинили.

Проестев показал на лавку: садись. Сам тоже сел рядом, заговорил доверительно.

– Сейчас объясню, а ты вникни – не по службе, а по душе… Дочку, княжну Лукерью, князь-Борису, конечно, жалко. Но еще больше ему жалко другую дочь, княжну Марфу. И самого себя.

Подьячий хлопал глазами, не понимал.

– У князь-Бориса дочерей четыре. Убили вторую, Лукерью. А на ближнее воскресенье, через пять дней, назначена свадьба у третьей, княжны Марфы. Теперь ту свадьбу, ясно, отложат, а может, вовсе отменят. Оттого Борис Левонтьич и горестен – мнится мне, что посильнее, чем от своей утраты.

– Почему посильнее?

– Очень уж завидный жених. Государев стольник князь Василий Петрович Ахамашуков-Черкасский. Из тех самых Черкасских.

Судья поднял глаза к потолку, а Шубин изобразил своими замечательными бровями изумленную почтительность: одну выгнул, другую приопустил. Род князей Черкасских при новом царствовании вознесся высоко, стал из наипервых.

– Если сыщется, что княжна Лукерья убита зазорно, по какому-нито грешному делу, это всем Лычкиным потерька чести. Жених тогда помолвку разорвет, и выйдет князь-Борису совсем позор. А хуже позора разорение, потому что Лычкины в Смуту вовсе захудали. Одна у них надежда выправиться – на эту свадьбу. Князь Ахамашуков богат, у царя на виду. Вот Борис Левонтьевич меня и просит помочь, сыскать дело поскорей, без волокиты.

– Понятно, Степан Матвеевич, – расправил плечи, как орел крылья, Шубин. – Душегубство сыщу, княжну обелю. Отменять свадьбу будет не с чего.

– Дурак! – снова осерчал Проестев. – Держу тебя только за расторопность! Мне правда нужна, а не княжну обелить. За кривду с меня государь спросит, а пуще того Черкасские. Если потом что выплывет, они за потерьку чести не с Лычкина, а с меня взыщут.

– Само собой сыщу правду, батюшка, – вроде как даже обиделся Кузьма. – Нешто я службы не знаю?

Однако про себя подумал: ага, рассказывай, нужна тебе правда.

Дело выходило непростое, тонкое. И ладно. Только на таких делах себя и можно показать.

Неожиданно быстрым, мухоловным движением судья выпростал из-за пояса руку, ухватил подьячего за ухо, притянул к себе, прошептал:

– Давай, Шубин, рой землю. Вызнай всё доподлинно. Сыщи и представь злодея.

Кузьма вылетел из Казенной, как ядро из пушки. Прорысил через избу, провожаемый любопытными взглядами приказных, однако за дверью, в сенях, приостановился, поправил кушак, надел шапку и на крыльцо вышел задумчивый, важный.

Там внизу, под лестницей, отдельно от просителей, толпились ярыги – служебная мелкота, кормившаяся без жалования, поденно. Коли есть какая надоба, исполни и получи копейку-полторы; коли надобы нет, живи так.

Взять с собой ярыжку Шубин решил не для пользы, а ради чинности. Известно: большой человек сам по себе не ходит, при нем должен кто-то состоять. Все ж таки идти предстояло к князю, хоть и захудавшему.

– Кто на полдня за алтын? – громко спросил подьячий.

Деньги были хорошие. Все загалдели, затолкались, полезли вперед друг друга.

– Меня! Меня возьми, Кузьма Иваныч!

Подумав, Шубин присовокупил:

– Мне грамотный нужен.

Ярыжные скисли. Письменных людей средь них водилось мало. У крыльца остались только трое.

Оглядев их, Шубин поманил к себе молодого парня, одетого почище других. Тот сдернул шапку, оказался пригож: лицо тонкое, как у девки, на верхней губе неуверенные усишки, а щеки нежные, белые. Русые волосы не колтуном и не клоками, как у прочих, а стрижены ровно, низко, по самые брови.

Оставшись доволен, Кузьма имени не спросил (на что оно нужно, ярыжкино имя?), лишь проверил, не врет ли про грамотность.

– На-ка, напиши что-нибудь.

Дал, вынув из широкого кармана, табличку с писалом. Парень ловко, хоть и без писарской гладкости, выскреб по воску нынешнее число: «128 года апреля вторник 13 день».

– Ну, ступай за мной. Да не рядом иди, невежа, поотстань! – прикрикнул подьячий. У парня длинные ресницы виновато заморгали. Теперь пошел правильно, по-за локтем.

Шли быстро, Кузьма часто отстукивал по земле посохом (прихватил в сенях для пущей важности).

– Тебе сколько лет? – искоса глянул Шубин на покрытую светлым пушком щеку.

– Двадцать.

– Давно ярыжничаешь? Пошто, зная грамоту, в писцы не поступил? Там служба хлебная, от людей подношения.

– Некому слово замолвить. Я сирота, меж дворов рос. А без слова, без подарка, сам знаешь, в избу не возьмут.

– Это да. – Кузьма улыбнулся, с удовольствием вспоминая собственное начало. – Меня в приказ на шестнадцатом году батька привел, подьячему штукой сукна

поклонился. Еще при государе Федоре Ивановиче было. В прежние, хорошие времена. Вот когда жили-то! Ярыжки хаживали сытые, нарядные – селезнями. Писцы – гусями гордыми, молодшие подьячие – индюками, а старые, вроде меня, павлинами дивнохвостыми. Меньше чем с гривенником никакой проситель не совался, и это за ерунду. А по серьезному делу могли и полтину дать… Эх, а какая Москва была! Не то что нынче.

Он кивнул на пожарище, тянувшееся от Троицкой площади, где Земский двор, до самой Китайгородской стены. В польскую осаду тут все дома пожгли, а новых пока отстроили немного. Народишко нарыл землянок, купцы поставили балаганов на жердях, под соломенными крышами. Ничего, жили как-то, выправлялись. Год-два назад хуже было.

– Куда идем, дяденька? – робко спросил ярыжка. – Какую службу исполнять?

– Не дяденька, а «господин старый первостепенный подьячий». Там, куда идем, зови меня именем-отчеством: Кузьма Иванович. А лучше никак не зови, помалкивай. Дом это непростой, княжеский. Там злодейски убили некую девицу.

Паренек охнул.

– Ох, горе какое! Юную и красную?

– Бес ее знает. Я буду сыск чинить, а твое дело за мной всюду ходить да кланяться… Не сейчас, дурень! Там будешь кланяться, у князя, почтение оказывать. Когда скину шубу и шапку – примешь.

– Ага, – кивнул ярыга. – И, если что нужное для сыска примечу, указывать, да?

– На кой ты мне со своими приметками? Ты примечай, чтоб мою кунью шапку не уперли. Они хоть и князья, а голь.

– А на что тебе тогда моя грамотность, господин старый первостатейный подьячий? – приуныв, спросил юнец.

– Когда велю записывать, начинай скрести по дощечке. Любые буквы, неважно какие.

– А… зачем?

– Позачемкай мне! – Кузьма замахнулся на надоеду посохом. – Не отставай. Поспешать надо!

Лень было объяснять, что на расспросе люди под запись меньше врут. Знают: набрешешь – потом против записанного не отопрешься.

Тем временем они выбрались за китайгородские ворота, прошли наискось сладкопахучий сенной торг и стали подниматься на пологую Ивановскую горку, по другую сторону которой уже был Подкопай.

– Вон она, усадьба Лычкиных, – показал Шубин. – Вишь, тын справа от храма Николы, а над тыном тесаная крыша? Туда идем. Делай всё, как я велел, наперед не лезь, и алтын твой. А коли удачно сыщу, еще копейку надбавлю. Старайся.

Ворота лычкинского двора, несмотря на полдень, были затворены. Подьячий обрадовался: не зря торопились. Сразу замедлил шаг и к воротам не пошел, а поначалу двинулся вдоль ограды.

– Господин старый первостатейный подьячий, чего это мы раньше спешили, а теперь нейдем?

– Нам надо было допрежь попа успеть. Душегубство – дело сатанинское, от него дому скверна. Коли двор еще на запоре, значит, скверна не снята. Пока поп с дьячком очистной молебен не отслужат, дом кадилом не окадят и жильцов к

кресту не подпустят, никому выходить-приходить нельзя. А что для нас всего гоже – нельзя трогать с места убиенное тело.

Шубин подергал одну доску забора, попробовал на прочность другую, двинулся дальше.

– А тын ты проверяешь, чтоб понять, не мог ли кто ночью с улицы пролезть? – догадался ярыжка.

– Мог пролезть, мог, – довольно молвил подьячий, останавливаясь подле пролома, куда легко протиснулся бы нетучный человек. – К примеру, вот тут. Ладно. Идем в дом.

Застучал в ворота посохом.

– Эй! Отворяйте! Дело государево!

У распахнувшего створку холопа – тощего, оборванного, испуганного – спросил:

– Пошто за попом доселе не посылали? Церковь-то рядом.

– Посылали, дважды. Отец Мартын хочет две копейки с грошиком, а князь-батюшка сначала давал полторы, потом полушку набавил. Не сторговались еще…

– Это хорошо, что твой хозяин скупенек…

Во дворе Шубин и ярыжка огляделись. Когда-то усадьба, верно, была богата, но в тяжкие годы заскудела, как и вся Москва. На месте, где до войны стояли хоромы, остались одни черные головешки. Скотный двор зиял проваленной крышей. В длинной конюшне – через распахнутые двери видно – почти все стойла пусты, только в двух хрупали соломой понурые клячи.

Княжеское семейство обитало в большой избе, где прежде, в хорошие времена, жил прикащик.

Поднимаясь на высокое, малость кривоватое крыльцо, Кузьма Иванович перекрестился под стреху, на образок Николы-Святителя – дом-то и вправду был опоганен. Ярыжка лишь почесал затылок – он всё озирался.

Вошли.

Хозяин, должно быть, увидал гостей из окна, ждал в сенях. Был он бледен, мокр жирным лицом, длинная полуседая борода подрагивала, тряслось и немалое брюхо. На толстой щеке у князя темнели две длинные царапины. С горя себя разодрал, что ли?

– От Степан Матвеича? Наконец-то! Я уж измаялся! – плаксиво засетовал Лычкин. – Ты кто будешь, мил человек? Дьяк?

Старший подьячий назвался – степенно, полуотечеством: Кузьма Иванов сын Шубин. Подумал: ишь, князь беспортошный, целого дьяка ему подавай. И решил, что будет держать себя с жалким трясуном строго, государственно.

Скинул на руки ярыге суконную весеннюю шубу, отдал шапку, посох. Без приглашения сел к столу.

– Рассказывай, князь Борис Левонтьич, как учинилось лихо.

Говорил Лычкин долго, бестолково, а поначалу от волнения и сбивчиво.

– Спал я, крепко, а тут крик, я пробудился, и невдомек мне, спросонья-то, думал, петух, а потом слышу – «караул» голосят, еще «мамушки». Я на другой бок повернулся, подумал – приснилось, мне часто дурное снится, после осадного-то сидения…

Мешало еще и то, что рот у князя все время был занят жеванием. Из засаленной кисы, висевшей на поясе, Борис Левонтьевич то и дело доставал сухарик ли, орех ли, кусок ли пряника и прибирал снедь толстыми губищами. Ел и плакал – одно другому не мешало.

Не раз и не два Кузьма перебивал, переспрашивал, возвращал назад. Понемногу разобрался.

– Стало быть что? – подвел Шубин итог прыгающего рассказа. – Ты, княже, вчера лег почивать вскоре после того, как стемнело. Перед тем женскую половину, как положено, на ночь заперли, и никто чужой туда попасть кроме как через твою спальню не мог?

– Вот тут моя спаленка, – стал водить пальцем по столу хозяин, – рядом спаленка супруги моей, княгини Марьи, а там переход и двери в светлицы дочерей: Хариты, Лукерьи (всхлипнул), Марфы и Аглаи.

– А боле на женской половине никого не было?

– Еще комнатная девка Евдошка, она в чуланце спит.

– Одна служанка на княгиню и княжон? – удивился подьячий.

Лычкин насупился, не ответил, только запихал за щеку вяленого карасика.

– Чего это он всё жрет? – шепотом спросил ярыжка, оставшийся у входа с холопом.

Тот так же тихо ответил:

– Когда ляхов в Кремле морили голодом, князюшка с ними был. С тех пор никак не наестся…

А Шубин сделался мрачен. Ежели женская половина на ночь затворяется и внутри только домашние, а вход туда единственно через княжью спальню, нехорошо это. Тогда получается, из своих кто-то девку порешил. Дело бесчестное. Расстроится свадьба, ибо на что Черкасским такая родня? Судья Степан Матвеевич будет недоволен.

– Кто княжну Лукерью, говоришь, нашел?

– Княжна Марфа.

– Это которая невеста?

– Она…

Несчастный отец вытер глаза рукавом когда-то нарядного, но давно обветшавшего тафтяного зипуна.

– Так и лежит, где нашли? Не трогали?

Лычкин вовсе расплакался.

– Так и лежит, страдалица. В страшном образе… Княгиня велела было унесть в горницу, да я не дал. Как можно? Поп молитву прочтет, порчу сымет – тогда. Иначе весь дом засквернишь…

Подьячий поднялся с лавки.

– Ну идем. Поглядим.

Сначала, однако, Шубин подошел к дворовому, внимательно поглядел ему в глаза – не вороваты ли.

– Как тебя?

– Акимка, батюшка.

– Прими, Акимка, у моего слуги шубу, шапку и посох. Из рук не выпускай – шкуру сдеру. А ты, – это уже ярыжке, важно: – Ступай со мной. Будешь запись вести.

Перекрестился на иконы трижды. Ну, вразуми, Господь.

– Веди, княже.

На женскую половину чужим людям, в особенности мужеского пола, вход строго заказан, но князь перечить и не подумал. В таком страшном деле не до пристойности.

Прошли спальней хозяина в смежную, княгинину. Подьячий глянул на обстановку без интереса, зато ярыжка весь извертелся от любопытства. Ни княгининых, ни вообще женских спален он, должно быть, отродясь не видывал.

Попялился на высокую, в пышных перинах кровать, разинул рот на польское зеркало в резной золоченой раме с голыми крылатыми младенцами, а при взгляде на белую, узкую ночную сорочку, разложенную на лавке, чуть не спотыкнулся.

– Ишь уставился, срамник, – прикрикнул на него Кузьма. – Не отставай!

– Княгиня-то, похоже, ночью не ложилась, – шепнул ему в затылок парень. – Сорочка не смята.

Но Шубин не услышал, он наткнулся на хозяина, который замешкался перед следующей дверью.

– Ты чего, князь?

– Не пойду я… – Лычкин понемногу пятился назад в комнату, мелко крестя брюхо. – Без меня давайте… Там она… Увидите.

За дверью открылся безоконный, темный переход, но откуда-то справа, снизу сочился свет. Там на полу, шагах в десяти, горели два подсвечника – в голове и в ногах у лежащей навзничь девы. Была она вся переливчатая, радужно мерцающая, невозможно прекрасная. Подьячий сначала даже испугался – не бесовское ли наваждение, а ярыжка ойкнул. Но, приглядевшись, они поняли, что это играют отсветы на подвенечном платье, расшитом канителью и убранном самоцветами.

– Погоди-ка, – обернулся к оставшемуся в спальне князю Шубин. – Ты ж говорил, убили не невесту, а ее сестру?

– Не знаю я, почему Луша в Марфином уборе, – плачущим голосом ответил Борис Левонтьевич и сунул в рот сушеную сливу. – У жены спросите, у дочек.

Он показал влево, в другой конец перехода. Одна из дверей там была приоткрыта, оттуда доносились голоса. Кто-то подвывал, кто-то говорил нечто утешительное, и еще что-то мерно постукивало.

– Ладно, спросим. Но сначала поглядим на покойницу…

Кузьма пошел направо.

Прекрасной убиенная княжна казалась только издали, из-за многоцветных искорок на платье. Вблизи же предстала неподобной и ужасной.

Застывший в беззвучном крике рот зиял ямой, очи пучились из глазниц, а жутче всего был кончик торчащего из переносицы ножа или кинжала и то, что покойница вроде как приподнималась.

– Э-те-те, – уютно проворковал подьячий, присаживаясь на корточки. – Это ее, болезную, сзади, под темя саданули. Клинок насквозь прошел.

Покрутил мертвую голову, и стало понятно, что приподнята она была из-за того, что опиралась на рукоятку, торчавшую пониже затылка. Вытащить из раны кинжал у Кузьмы мочи не хватило.

– Эка силища… Женке так не воткнуть, – с явным удовлетворением молвил Шубин.

Ярыжка тоже присел, быстро водя носом туда-сюда.

– Записать что-нибудь?

– Чего тут записывать? Вот сейчас буду допрос вести, тогда поскребешь для видимости.

Вытирая о кафтан загрязнившуюся кровью руку, Кузьма пошел на женские голоса. По дороге позвал:

– Князь Борис Левонтьич, ступай с нами. Как мне без тебя с твоей женской половиной разговаривать? Срам выйдет.

Лычкин шагнул в переход так, чтоб не увидеть мертвого тела. Еще и рукавом закрылся.

– Чья это комната, где все собрались?

– Марфушина… Утешают. – Князь крикнул: – Я это! Человек от Степан Матвеича со мной! Приберитесь там!

Голоса стихли. Но не прекратились унылый вой и стук: тумм, тумм, тумм. Зашуршало что-то, заскрипело, кто-то шикнул:

– Сядь ты, Аглайка! Харита, перестань!

– Ну, входим, что ли? – нетерпеливо спросил Лычкин, переминаясь с ноги на ногу. Ему хотелось быть подальше от трупа.

Спокойный, звучный женский голос пригласил:

– Пожалуйте.

Небольшая комната была поделена золотым апрельским солнцесиянием на две половины – темную и ясную. Три женские фигуры были на свету, две в тени. Четыре поднялись навстречу вошедшим, одна осталась сидеть в углу. На нее-то, сидящую, мужчины и уставились.

Рыжекосая, несильно молодая дева с опухшим от слез лицом, сплошь покрытым крупными веснухами, тупо билась головой о край печи и уныло, безнадежно подвывала.

– Будет убиваться, Харита! – покривился на нее князь Борис. – Померла Луша – не вернешь. Волоса-то прикрой, люди у нас!

Пояснил Шубину:

– Харита это, старшая, от моей первой жены, твоему начальнику двоюродной сестры.

Кузьма Иванович низко поклонился проестевской племяннице, но та не обратила внимания ни на честь, ни на отцовские слова – снова стукнулась виском, где и так уже багровел кровоподтек.

– Уууу…

Высокая женка в бабьем убрусе – не иначе сама княгиня – повернулась и шлепнула рыдательницу по щеке.

– Сказано: уймись!

Харита Борисовна всхлипнула и утихла, но из закрытых глаз продолжали течь слезы. Она утирала их широкой, не по-княжьи грубой рукой с обкусанными ногтями.

– Супруга моя, Марья Челегуковна, урожденная Ахамашукова…

Княгиня была еще молода и, пожалуй, красива, но какой-то нерусской красотой: остра лицом, соколиста носом и недородна станом, зато черные брови вразлет и огромные, полные жгучего света глаза были хороши.

Черкешенка, потому чернява и нос такой, подумал Кузьма, щурко приглядываясь к хозяйке. Эвон какая, и непохоже, что плакала. Хотя с чего бы ей плакать? Дочку-то уделали ей неродную, нерожёную.

– Не взыщи на нас, сударь, в нашем горе, – молвила княгиня, кланяясь малым обычаем.

Подьячий тоже молча поклонился – не так низко, как старшей княжне.

– Моя третья, Марфа, – показал Лычкин на золотоволосую, робко помаргивающую девицу, миловидную собой. Та облизнула нежно-розовые губки алым язычком, жалобно наморщила лобик, потупилась.

– Которая князю Черкасскому невеста? – уточнил Шубин. – Не бойся меня, лебедушка. Я пришел твоему горю помочь, только говори со мной без утайки.

– Помилуй Господь, как можно утаивать… – еле слышно пролепетала княжна. Ее тонкие пальчики быстро двигали шариками костяных четок.

– Безгласная она у нас, батюшка, тихая, молитвенная. Чужому человеку и слово сказать побоится, – быстро сказал Лычкин. – Они с Лукерьей-покойницей у меня от второй супруги, урожденной Бельчаниновой. Погодки. Но Луша бойкая была, дерзовитая, а эта будто горлица. За то она князь-Василью Петровичу и приглянулась.

– Как оно всё у вас сладилось-то? С князем Черкасским? – спросил подьячий, всё глядя на невесту.

Ему стало любопытно. У Черкасских в Кремле хоромы, по всему государству вотчины, этот Василий Петрович самому князь-Ивану Черкасскому, царскому любимцу, близкая родня, а Лычкины – голь перекатная. Черкасским никак не ровня.

Борис Левонтьевич оживился – говорить про это ему было приятно.

– Так говорю же, Марья Челегуковна из Ахамашуковых, и князь Василий Петрович той же ветви, только Ахамашуковых-Черкасских. На прошлое Рождество жена моя ездила к ним, бабку троюродную проведать, та болела. Познакомилась там с князь-Василием, позвала у нас бывать. Он стал ездить. Говорил, что жениться ему пора, что за приданым он не гонится, собственных животов хватает. Была бы, говорил, девушка хорошего рода, скромная, собой

ладная. Вывел я к нему с женской половины четырех своих дочек показать, на смотрины. Василь Петрович выбрал третью, Марфиньку. Пожаловал нас, убогих, Господь такою великою милостью… Я подмосковную деревеньку продал, чтоб подвенечный убор справить: платье узорчатое, златого шитья с каменьями, кокошник жемчужна скань, сапожки венгерский сафьян… А ныне платье кровью попорчено, кокошник же вовсе пропал. – Он заплакал. – На нем одного жемчугу озерного на пол-полтораста рублей!

– Говоришь, пропал жемчужный кокошник?

Шубин вспомнил, что покойница, в самом деле, лежит простоволоса, и повеселел. Ежели убийство грабительное – тут урона для чести нет. О том, почему Лукерья Борисовна оказалась в невестином платье, пока решил не спрашивать. Оставалась еще одна дочь, молодшая.

Эта стояла с краю, опустив голову, в тени, почти невидимая.

– Оборотись-ка на свет, голубка. Дай на тебя посмотреть.

Кузьма ждал, что дева, совсем еще юная, застесняется, затушуется, закроется рукавом, но младшая княжна подвинулась ближе к окну и глянула подьячему прямо в глаза.

Он крякнул, а ярыжка уронил на пол восковую доску.

Дева была неизъяснительно хороша. Черные волосы гладко-блестящи, черные глаза осиянны, черные брови горностаевы, а кожа белее белого, губы алее алого, пуще же всего удивительная эта красота озарялась неким особым трепетанием воздуха, словно бы ласкающего лучезарный лик.

А дурак Черкасский-то, что Марфу выбрал, подумал Шубин.

– Аглая, наша с Марьей Челегуковной дочерь. Последышная. – Князь тяжко вздохнул. – Уж с чем ее буду замуж выдавать, сам не знаю.

Видно, старшую дочь, Хариту, сбыть с рук он уже не надеялся.

Княжна сверкнула на родителя своими чудесными глазами, оскалила блестящие острые зубки и вдруг стала похожа на малого, но небезопасного зверька. Однако ничего не сказала, сызнова потупилась.

– Ну, а ты кто? Горничная?

Сбоку, в самом углу комнаты, переступала с ноги на ногу еще какая-то баба ли, девка ли. К ней Шубин подошел сам, не чинясь взял за подбородок.

– Как тебя? Евфишка?

– Евдошка… – шмыгнула мокрым носом служанка.

Была она мосластая, недокормленная, глазами косила в сторону. Ничем она Кузьму Ивановича не заинтересовала. Он оттолкнул ее лицо, пальцы вытер о полу.

Вернулся на середину светлицы.

– Ведайте, княгиня со княжнами: указано мне сыскать великое это душегубство накрепко, безо всякого чина. А сие значит, что ныне пред вами не старый первостатейный подьячий Шубин, а само око государево. Отвечайте честно, безо всякой кривды и утайки. Писец каждое ваше слово запишет, и кто солжет или правды недоскажет – быть тому в вине перед царем и Богом. Ясно?

Было тихо, лишь всхлипывала княжна Харита да испуганно щелкала четками княжна Марфа.

– Говорите, кто где был, когда свершилось убийство. Вот ты, княгиня, где была?

– Где мне быть? У себя. Не ложилась. Сон не шел, – пожала плечом Марья Челегуковна. – Потому, услыхав Марфушин крик, прибежала первой.

– Так. Ты, Харита Борисовна?

Старшая дочь не ответила и глаз не открыла. Искаженное мукой лицо подергивалось.

– Харита с Лушей очень дружна была. Больше всех прочих, – сказала княгиня. – Вот и убивается. Не пытай ее. Спрашивала я уже. У себя она была.

– Ладно… – Кузьма повернулся к невесте. – Ну, а ты что скажешь, Марфа Борисовна? Где ты была? И почему Лукерья вздела твое платье?

– Я… мы… у меня мы были, обое… – Княжна Марфа лепетала очень тихо, а четки прижала к груди, будто они могли ей помочь. – Я Лушу попросила в мой свадебный наряд облачиться… Чтоб посмотреть, как оно глядится… Луша со мной одной стати…

– Ага. Понятно. А когда она из комнаты вышла? И зачем?

– Когда – не знаю… Петухи еще и первый раз не кричали… А пошла она к себе за сапожками. Мои сафьяновые, венгерские, ей малы, а я хотела посмотреть, каково оно на каблуках будет… Вышла она, а я осталась… Через малое время слышу – вроде упало что-то… Но я тогда не вышла, позвала только: чего-де ты? А вышла я, когда трижды кликнула, и не ответил никто… Выглянула – не пойму. Никак лежит что-то. Вернулась за свечой. Гляжу – а это Луша на полу… И течет из-под нее черное, растекается… Я – в крик…

Больше Марфа Борисовна говорить не могла, расплакалась. Княгиня погладила ее по золотистому пробору, на подьячего посмотрела с укоризной: что, рад?

А Кузьма Иванович в самом деле остался доволен. Картина выходила почти ясная, но для порядка он спросил и Аглаю с Евдошкой – где были ночью? Княжна буркнула: у себя. Служанка сказала: спала в чулане.

– Должен у вас тут из женской половины наружу какой-нибудь ход быть. Во двор ли, в сад ли, – сказал подьячий. – Не каждый же раз вы через князь-Борисову спальню проходите.

– Есть дверь в сад, как не быть, – отвечал хозяин. – По переходу вправо, и там ход на малое крылечко.

– Пойдем, княже. Покажешь.

Идти пришлось мимо мертвого тела (Борис Левонтьевич, отворачиваясь, стукнулся плечом об стену), потом завернули за угол, и там точно оказалась дверь. Увидев изнутри засов, Кузьма было приуныл, однако велел ярыжке принести шендан со свечами, посветил и радостно присвистнул.

Засов-то засов, но скоба вышиблена, отходит от стены.

Подьячий открыл дверь, посмотрел снаружи: на створке следы ударов.

– Вот и всё. – Шубин потер руки. – Ясней ясного. Лихой человек залез во двор, у вас там тын – одно прозвание. Обмотал дубину ли, топорище ли тряпкой или чем, чтоб не грохотать. Вышиб скобу. Вошел. В переходе наткнулся на княжну Лукерью, которая шла к себе переобуться. Она, верно, повернулась бежать от чужого человека, а он ее с перепуга хватил ножом куда пришлось – под затылок. Мужичина, видать, аховой силищи. Вогнал в кость по рукоятку. Это смерть мгновенная, княжна и не пискнула. А тать схватил что попало под руку – жемчужный кокошник, и наутек… Успокойся, князь Борис Левонтьевич. Дочери твоей не вернуть, но для свадьбы помехи нету. Невестиной чести урона не случилось. Так и доложу Степану Матвеевичу. А вы что ж? Сотворите очищение, попечалуетесь сколько положено, а там и свадьбу сыграете.

Князь от великого облегчения расхлюпался.

– Спаси тебя Бог, милый человек, за скорый и верный сыск. Отблагодарить бы тебя, да нечем. Авось после свадьбы богаче заживем. Тогда приходи.

– Приду.

Подьячий обернулся на ярыжку, который замешкался с подсвечником у поврежденной двери.

– Эй, ты чего там? Уходим.

– Кузьма Иваныч, господин старый подьячий, – зашептал парень, догнав Шубина, – я что там приметил-то… Дозволь покажу.

– Не дозволяю, – отмахнулся тот, размышляя о хорошем: как порадует приказного судью и чем потом отдарится благодарный Лычкин. – Беги за шубой и шапкой. Да посох не забудь. А как поможешь одеться – не лезь ко мне, шагай себе сзади. Думать буду.

– Вот и гоже, коли так, – сладко молвил Степан Матвеевич, дослушав доклад подьячего.

Одна рука судьи по привычке была засунута за пояс, в другой покачивалась нагайка. Кузьма встретил начальника на Земском дворе – Проестеву подавали коня, куда-то он собирался ехать, но, увидев возвращающегося Шубина, задержался.

Здесь же, за спиной у подьячего, топтался молодой ярыжка, мял в кулаке снятую шапку. Судья, слушая, нет-нет да поглядывал на мелкого человечка, лениво.

– Стало быть, княжну убил ночной вор, выбивши дверь? Ну-ну. Отпишу государю и патриарху, а то присылали уже, спрашивали. Черкасских тоже успокою, князь-Ивана Борисовича и князь-Василия Петровича. А ты, Кузьма, знаешь, что дале делать. Учить не буду. – Но всё же поучил: – Пошли к скупщикам предупредить. Как кто принесет продавать жемчужный кокошник или хоть рассыпной жемчуг, пусть того человека держат разговорами иль велят прийти за деньгами вдругорядь, а тебе пусть шлют весточку. Возьмем душегуба, никуда не денется.

– Прямо сейчас распоряжусь, – поклонился Шубин, гордый и успехом, и тем, что не огорчил судью.

– Что ярыжка, которого ты с собой брал? Толков?

Подьячий удивленно оборотился – забыл про парня.

– Ты чего здесь? А, я тебе алтын должен…

– И еще копейку, – напомнил тот. – Коли дело сделается. Или оно не сделалось?

– Ничего малый. Говорлив только, – ответил Кузьма начальнику, а ярыжке махнул: после с деньгами, после.

– Ладно. Беги, распоряжайся. – Проестев подавил зевок. – Не упустить бы татя.

Наскоро поклонившись, Шубин потрусил к крыльцу. Поспешно согнулся в пояс и ярыга, да так и застыл, ожидая, что великий человек пойдет дальше по своим великим заботам.

Но Проестев остался, где был.

– Распрямись-ка. Отвечай: ты что у подьячего за спиной рожи корчил? Будто хотел что сказать, да не решался?

Ярыжка поскреб низкую челку. Под волосами открылся гладкий лоб, посередине которого темнело круглое родимое пятно величиной с копейку.

– Тебя как звать?

– Маркелка, Маркелов сын…

– Ну говори, Маркел Маркелов, что не хотел при Кузьме сказать.

Парень еще немного помялся и решился:

– Насчет двери, которая будто бы снаружи выбита… Я скобу осмотрел. Она на гвоздях посажена. Так те гвозди не от удара вылетели, а кто-то их вытянул из дерева клещами или чем. Изнутри…

Судья сжал мягкие губы, отчего рот стал жестким, а лицо словно закаменело.

– Изнутри?! Не ошибся ты?

– От удара со двора щепки бы вылезли, а их не было, щепок. И на гвоздиных шляпках видно царапки от клещей. А в дверь – это для виду били. Чтоб было похоже на взлом. Только не взлом это…

Степан Матвеевич хлестнул себя нагайкой по голенищу, тревожно.

– Кто-то домашний подготовил дверь, чтоб убийце войти? Охо-хо, скверное дело…

– Или того скверней, – тихо сказал Маркел. – Домашний кто-то и убил. А с дверью нахитрил, чтоб на чужого подумали.

– Погоди, погоди. Удар ножом большой силы, сквозь весь череп, а на женской половине были только княгиня с дочерьми да девка-служанка.

Ярыжка покачал головой:

– Может, не такой и сильный был удар. Княжна на спине лежала. Могла, падая, рукояткой о пол попасть, вот кинжал скрозь и прошел.

– Верно! Могло такое быть!

– И еще одно, господин приказной судья… В переходе ночью, чай, темно было. А на княжне Лукерье Борисовне невестино платье, кокошник. Вот я и думаю: не ошибкой ли ее порешили? Может, хотели убить княжну Марфу Борисовну, да обманулись?

В волнении Проестев заходил по двору кругом, мелко переступая короткими ногами. О чем-то сам с собой толковал, шевелил губами, раз даже плюнул. Наконец остановился, поманил ярыгу пальцем.

– Хоть ты и зелен, а смышленей старого дурня Шубина. Чуть он меня под беду не подвел. Я бы всем отписал, что дело чистое, а оно еще, может, не окончено. Прав ты, Маркел Маркелов. Очень возможно, что кто-то хотел невесту уходить, да ошибся. И если убил некто домашний, то как бы оно новым душегубством не обернулось.

– Я тоже о том подумал, господин приказный судья.

– Зови меня Степаном Матвеевичем… – Проестев поглядел на конюха, державшего в узде смирную серую кобылу. – Ну так, Маркел. Мне надобно к государю патриарху ехать. О деле княжны Лычкиной докладывать ему пока не буду. Скажу: сыск продолжается. А ты давай на Подкопай – и копай. Докопай до правды. Хотя Лычкины мне и свойня, да правда дороже.

Парень заробел:

– Как это? Я ярыжка простой. Они со мной и говорить не станут!

– Я тебе такую бумагу дам, что никто не заперечит. Если надо – и княгиню, и даже девок-княжон с глазу на глаз расспрашивай, без хозяина.

– Чай срамно? – засомневался Маркел. – Наедине, без мужа, без отца?

– А я напишу в бумаге «сыскать накрепко, без чинов и всякого зазора». Когда так писано, можешь женок с девками хоть за потаенные места щупать, им от того никакого срама не будет – государево дело.

Ярыжка покраснел, должно быть, представив себе лишнее, а судья с ухмылкой шлепнул его по лбу.

– Без крайней надобности только не щупай. Ну-ка, подставь спину.

Махнул приказным – те принесли бумагу, чернильницу, перо, – и судья написал на согнутой спине ярыжки, как на столе, казенную грамотку.

– Вот так. И построже с ними, с Лычкиными. Эвон какие у князь-Бориса в доме черти хороводятся. Конюх, подавай кобылу!

С проворством, которого трудно было ждать от грушевидного тела, Степан Матвеевич вскочил в седло, стеганул по крупу плеткой. Погнал. Это он пешком ходил медленно, а ездил всегда быстро.

Маркел остался в ошеломлении от такого в жизни поворота: в одной руке шапка, в другой – грозная грамота.

Однако столбом парень стоял недолго. Тоже подхватился, сдвинул брови, смахнул со лба волосья – и побежал назад на Подкопай.

– Обронил что или забыл? – спросил знакомый холоп у все еще притворенных ворот (знать, пока не сторговались с попом).

– Веди к князю, – сказал ярыжка. – Вот, грамота к нему.

И выставил свиток вперед навроде копья. Все же боялся, что бумаги будет недостаточно – не захочет его княжеская милость приказную мелюзгу не то что слушаться, а и в дом не пустит.

Лычкин, выйдя в сени, и вправду сначала на Маркела даже не глянул – должно быть, принял за простого гонца. Взял грамоту, поднес к слюдяному оконцу, стал читать. Откусил пирожок, да не дожевал – замер с набитым ртом.

Тогда только и вгляделся в парня как следует.

– Без чину и без зазору? – повторил, и в голосе обозначилось дрожание. – То-то мне давеча помнилось, будто подьячий ходит больше для видимости, а истинный голова сыску – ты, Маркел… – Посмотрел в бумагу в поисках отчества, не нашел и додумал сам: –…Маркел Маркелович.

Бесчинную, а того паче беззазорную грамоту абы кому не дадут. У такого большого человека непременно должно быть отчество.

Страшней всего князю показалось, что вернувшийся сыскатель так молод и худо одет. Не иначе из тайных людей, которых зовут «патриаршим оком». Вся Москва про них шепчется: будто у государева родителя патриарха Филарета, истинного правителя державы, во всяком приказе для пригляда есть свои верные слуги – в

малых чинах, но в большой силе.

– По здорову ли святейший? – спросил Борис Левонтьевич с поклоном.

Маркел не понял, про кого это, но на всякий случай ответил «слава Богу», после чего князь поклонился уже в пояс.

– Пожалуй в горницу, сударь. Весь мой дом в твоей воле.

Даже Кузьму Шубина так не привечал.

– Откуда у тебя, княже, лик расцарапан? – для почина спросил ярыжка, будучи проведен в горницу. В прошлый раз он ждал, что Кузьма Иванович про то сведает, но подьячий не стал.

– Это-то? – Лычкин потрогал щеку, сморгнул. – С горя сам себя окарябал. Когда доченьку мертвой увидел.

Показал ногти (такими можно было и хуже окарябаться), горестно шмыгнул носом, но Маркел все равно не поверил. Царапины были не сегодняшние – вчерашние либо вовсе третьеводнишние.

Коли хозяин сразу начал врать, разговор с ним лучше отложить на после, подумал ярыга.

– Оставайся здесь, княже. Я пойду на женскую половину один, а ты в том зазора не усматривай.

– Не буду. Пойду лишь предварю всех, чтоб не пугались и говорили с тобой, как на духу. Покушай пока квасу с калачом.

Конечно, лучше было бы потолковать с княгиней и княжнами без предварения, врасплошно, но они при виде чужого мужчины, пожалуй, начнут орать.

– Изволь, – разрешил Маркел. – Только живо.

– Я одним духом.

И побежал мелкой топотой, брюхан. А хорошо это, оказывается, – настоящего князя погонять.

Юнош взял ковш, отпил, рванул зубами калач (с утра ничего не жрал, за безденежьем). Жуя и похлебывая, обошел покой.

Может, если считать по-княжески, Лычкины жили и небогато, но ярыжке здесь всё было в диво. Один стулец поразил его своей затейливой красой: с резной спинкой – тулово опирать, с поручнями – локти покоить. Экое удобство, не то что на лавке сидеть. У стены высились диковинные рундуки – такие высоченные, что и не сядешь. И с дверцами. Приоткрыл одну – а там кубки, мисы, ковши. Какие оловянные, а какие и серебряные!

Ух ты, а это что? Сбоку от киота, где иконы, висел бумажный лист, креплен малыми гвоздецами. На нем картина, нерусская: большая вода с крутыми волнами (должно быть, море-океан), по воде плывут крутобокие корабли с парусами, а с неба дует ветром круглощекий бородач. Эко диво! В книгах про море многажды читано, а зрительно воображалось трудно: как это – вода без конца и края? А оно вон какое – море…

Вернулся запыхавшийся князь.

– Предварил, ждут. Что ни спросишь – ответят без утайки.

Верно, сказал домашним, чтоб не болтали лишнего, подумал Маркел, однако молвил: «благодарствуй, княже» и пошел дорогой, какую помнил – из горницы переходом в мужнину спальню, а оттуда к хозяйке.

Марья Челегуковна сидела на табурете посреди комнаты, прямоспинная и хмурая, сложив на груди руки. Не поднялась, не поздравствовалась. Никакого трепета перед сыскателем, хоть бы и беззазорным, княгиня не выказала.

– Чего тебе, служивый? – сказала. – Какого еще допыта? Дайте нам покойно наше горе горевать.

Если так, Маркел тоже чинничать не стал.

– Не больно-то ты горюешь. Муж твой плачет, дочери тоже, а у тебя глаза сухие, некрасные. Не жалко падчерицы?

Княгиня зло сверкнула глазами и стала краше прежнего. Есть на свете такие люди, которым злоба только к лицу.

– Мы, черкешенки, в горе не плачем. И дочь моя рожёная Аглая тоже не плачет, коль ты приметил. Остальные – те да. Одна молится и рыдает, другая сычихой воет, головой бьется. Не моя кровь.

– А может, ты не плачешь, потому что княжну Лукерью не любила? – продолжал наседать Маркел. Он уже не помнил о прежней робости, о своем жалком ярыжном состоянии. Парня будто влекла за собой некая азартная сила – как охотничьего пса, взявшего след.

– Не любила, – спокойно согласилась Марья Челегуковна. – И не за что ее, злыдню, любить. Лукерья была девка ехидная, пакостная, завидущая. Одну только Хариту не обижала. И понятно отчего. Та – уродина и перестарок. У Лукерьи все разговоры были – как она за богатого-пригожего замуж от нас уйдет, а мы тут все в бедности сгнием. Приданое себе копила, в сундук запирала: что выклянчит, а что и скрадет. А когда мой троюродный братушка князь Василий, богатый-пригожий, выбрал в невесты Марфу, Лушка от досады мало не взбесилась. Я даже забоялась – не отравила бы родную сестру. Да только оно вон как вышло…

– И кто бы, по-твоему, мог такое лихо сотворить? – тихонько, словно опасаясь спугнуть добычу, спросил Маркел. Он и не ждал, что первая же свидетельница окажется столь пряма и говорлива.

– Известно же. Тать какой-то со двора влез и прирезал. Теперь Лукерья лежит мертвая, и поп нейдет. А душа ее черная, поди, уж у чертей на сковороде, – с удовлетворением молвила Марья Челегуковна и натвердо сомкнула уста.

Стало ясно, что более допытывать у нее нечего. Что хотела – сказала, и всё.

Ох, немягка княгиня, ох недобра, подумал Маркел. Саму, верно, на том свете черти ждут не дождутся.

Встал, поклонился, пошел дальше, к девичьим светлицам.

Но прежде, конечно, еще раз повернул направо – к мертвому телу и двери в сад.

Над убитой Маркел встал на четвереньки. Держа подсвечник, нагнулся чуть не самым носом в пол, будто принюхивался, и стал совсем похож на собаку.

Времени приглядеться теперь было много, и ярыга заметил то, что пропустил в прошлый раз.

Во-первых, нашел лежащую близ трупа веревочку, лазоревого цвета, витую. Была она завязана узелком, а посередке оборвана. Кто-то, возможно, носил снурок на запястье, да обронил. Конечно, веревочку могли потерять и в иное время, без связи с душегубством, а все ж Маркел ее прибрал.

Вторая находка была того интересней. Осматривая голову покойницы (не без страха – очень уж жутко пялились на дерзеца пучёные глаза), Маркел приметил на виске надорванный лоскуток кожи. Не сразу, но догадался: это убийца дернул кокошник, а тот зацепился за волоса. И в подтверждение угадки, тут же, увидел на полу, близко, малое блестящее зернышко. Похоже, повредилось что-то от рывка в кокошнике – стал осыпаться. Поодаль, шагах в трех, мерцал еще камешек. Юнош на карачках переполз туда, ближе к выходу. Других жемчужинок до самой двери не обнаружил, толкнул створку, переполз на крылечко. Подсвечник за ненадобой отставил, наоборот прикрыл глаза от яркого солнца.

Поползал по земле еще малое время. Ага, опять белый шарик. Что странно – не на пути к тыну, куда бы бежать татю с добычей, а с противоположной стороны.

Там ничего нет, только стена дома да колодец.

Хмуря пятнистый лоб, Маркел приблизился к срубу. Заглянул.

Внизу маслянисто чернела вода – близко, аршинах в четырех или пяти. В низинах Белого Города глубоких колодцев не копают. Московский край лесной, болотный, до подземных ключей рукой подать.

Где-то тут должен быть багор – подцеплять бадейку, если сорвется с вервья или если что уронят.

Длинная палка с крюком лежала здесь же, в траве. Юнош сунул ее в сырую яму, достиг недальнего дна, начал шуровать и скоро что-то подцепил.

Ах! По дощатым стенкам запрыгали световые зайчики. На крюке, покачиваясь, висело дивное диво, волшебно-переливчатая корона, какими в сказке увенчивают царевен!

Не веря такой скорой удаче, Маркел бережно взял кокошник. Так и есть: с одного края сканная нитка порвалась и несколько самых мелких жемчужин выпали, а еще прицепился клочок светлых мокрых волос.

Оглянувшись на дом (не смотрят ли), ярыжка сунул драгоценную вещь за пазуху. Шутка ли – семьдесят пять рублей! Однако же выкинули…

– Диковинная татьба, – бормотал Маркел, возвращаясь к дому. – Диковинная…

Он хотел побеседовать с княжнами по старшинству, начав с Хариты Борисовны, но перед дверью княжны замялся – постучать, нет? Государеву человеку, которому грамота дала большую власть, стучать вроде не к лицу, а как впереться невежею к деве высокого рода?

С той стороны донеслось: ууу – туммм, ууу – туммм… Всё колотится, сердешная.

Ярыге стало робко. К девичьим слезам он не привык, вблизи их никогда не видывал.

Какой с Харитой разговор, коли она припадочная? Ну ее.

Малодушно попятился, решив оставить самую трудную собеседовательницу на после.

Лучше для почина говорить с самой кроткой из дев – Марфой Борисовной. С нею, тихой и богомольной, выйдет легче.

Дверь в соседнюю светлицу была приоткрыта, оттуда неслись звуки, непонятные, однако совсем не богомольные.

Кто-то там что-то прошипел, потом кто-то вскрикнул. Опять свистящий, невнятный шепот. Опять вскрик.

Маркел заглянул в щель.

Внутри были несчастная невеста и девка-горничная – на коленях перед ней, с положенными на лавку руками.

– Сколько раз тебе, сучьей стерве, говорено – чулки сторожко стирать? – цедила Марфа Борисовна сквозь ощеренные зубы.

И четками горничной по костяшкам пальцев, с размаху. Этак и покойный Гервасий не лупцевал.

– Ой!

– Говорила я тебе: дырку не простирай? Говорила?

Снова удар.

– Ой!

Вот тебе и кроткая дева…

Стукнул в дверь.

– Княжна! К тебе я, приказный человек Маркелов!

Стало тихо.

– Входи, сударь, – тоненько, жалостно отозвалась княжна.

В переход, сопя носом, выскользнула служанка. Маркел схватил ее за локоть, шепнул:

– Ты куда, Евдошка?

– К себе, в чулан… Боярышне чулок штопать.

Глаза у девки были слезные, голос дрожал.

– Будь там, жди. Скоро приду.

Княжна сидела на той же лавке, где только что казнила Евдошку, понурая и хрупкая. Белыми ручками перебирала четки, лицо всё в слезах (и когда только успела замокриться?).

– Батюшка велел во всем тебя слушаться, отвечать без лукавства. А я, сударь, и знать не знаю, что за лукавство такое. Я дева простая, глупая, уж не взыщи.

И глаза такие беззащитные, доверчивые.

Все, что ль, они такие, Евины дочери, мысленно подивился Маркел. На людях овечки, а сами – волчицы лютозубые?

Не было у него никакого навыка разговаривать с благородными девами.

– С сестрой-покойницей вы каковы были? – спросил он, вспомнив слова княгини, что Лукерья была злыдня и ладила только с Харитой. – Чай ссорились?

Эх, не надо было так, в лоб-то. Спохватился, когда уже выскочило.

– С Лушенькой? – поразилась Марфа Борисовна. – Что ты, сударь! Мы же с ней от одной матушки. Вместе произросли, вместе сиротствовали под мачехой. Лушенька на год меня старше. Всегда защитит, всегда полакомит. Как я теперь без нее жить буду, без моей отрадушки?

И залилась слезьми, и затрепетала плечьми, и от великого того рыдания говорить более не могла.

Маркел засомневался. Невозможно так горевать из притворства. Кажется, княжна истинно убивается. Иль нет? Бес ее разберет.

– Будет тебе, будет, – сменил он грозный глас на ласковый. Еще и по голове ее погладил, утешительно.

Опять только навредил. От доброго слова Марфа Борисовна расплакалась еще пуще, совсем сомлела. Зубки у ней застучали, из горла поднялось икание. Бледные губки пролепетали:

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/boris-akunin/sedmica-trehglazogo-kupit

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити